

18+

АРИНА ЛОРЕЛЬ

ЗОЛОТОЙ РОГ

Арина Лорель Золотой Рог

<https://litres.ru/74465072>

ISBN 9785007121231

Аннотация

1203 год. Константинополь, последний оплот Римской империи, осаждён крестоносцами, которых привёл беглый царевич. Договор о помощи оборачивается смертельной ловушкой: у императора нет денег, народ ненавидит латинян, а слепой дож Венеции уже готовит штурм. Гибель империи неизбежна — и она страшна.

Она — переводчица между двумя мирами. Он — обречённый император, который привёл врагов в свой город. Другой — венецианский арбалетчик, враг по рождению, но друг по сердцу.

Содержание

Золотой Рог	5
Пролог	5
Глава 1	15
Глава 2	31
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Золотой Рог

Арина Лорель

© Арина Лорель, 2026

ISBN 978-5-0071-2123-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Золотой Рог

Пролог

****Апрель 1204-го. Константинополь, дворец Вуколеон. Глазами Ирины.****

Воздух спёкся от гари и ладана — эту горькую, неотвязную смесь город втягивал уже третью седмицу, как испорченное вино, которое нельзя выплюнуть, но нельзя и проглотить. Сперва занялся квартал у Золотого Рога — там вспыхнули склады кожевников, и ветер понёс смрад палёной шерсти, — потом дым переполз на форум Константина, где веками судили живых и мертвых, а к исходу второй недели апреля он растворил в себе всё: обугленное дерево от сгоревших сводов, прогорклый жир из расколотых амфор с оливковым маслом, человеческий пот, тягучую кровь и тот приторный, липкий, почти сладковатый ужас, каким пламя высасывает из живой человеческой плоти то, что при жизни не отдавали по доброй воле — ни врагу, ни Богу, ни самой смерти.

Ирина Склирена стояла у высокого, узкого окна в восточных покоях императрицы — уже не императрицы, а бывшей, двоюродной бабки Анны, которую узурпатор Алексей

У Мурзуфл, взявший трон в январской смуте, повелел запретить под домашний арест, оставив ей лишь этот угол дворца и право молиться на старые иконы. За мутным, давно не мытым стеклом открывалось Мраморное море — свинцовое, рябое, с зелёным отливом, будто больной бронзой. По бурой, маслянистой глади ещё скользили редкие паруса: высокие латинские каравеллы генуэзцев, коренастые нефы пизанцев, несколько лёгких ромейских хеландий с косыми вёслами. Все уходили. Все, кому было куда, и те, кому просто повезло найти место на палубе — за мешок серебра или за последнюю фамильную брошь. Город выдыхал их, как воздух из пробитых лёгких.

— Не гляди туда, девочка. Смотри внутрь, — сказала Анна с низкого ложа, где сидела неподвижно — грузная, в тёмном платье с вышитыми золотыми львами, чьи глаза давно выцвели до тусклой желтизны. — Сейчас улица страшной моря. Море — оно Божье. Улица — человечья. А человек в осаде страшной любой бури.

Ирина промолчала. Её взгляд, упрямый и сухой, вглядывался в дальнюю точку на рейде — высокую мачту под венецианским стягом с крылатым львом, что полоскался на ветру, как вывернутая наизнанку душа. Она знала: на той галере, скорее всего, стоит Марк Веньер, молодой арбалетчик, дважды приносивший ей письма от дожа Энрико Дандоло —

слепого старца, который не видел неба, но видел золото там, где другие видели святыни. «Прими мою защиту, кугіа Ири-на», — вывел он по-гречески корявыми, неуклюжими буквами, похожими на царапины когтя. Оба послания она сожгла в светильнике, глядя, как синий огонь пожирает сургуч и тонкий папирус. Не от страха — от нежелания помнить его светло-карие глаза, которые смотрели на неё с той же жадной нежностью, с какой латиняне смотрели на константинопольские мощи.

— Ваше величество, — она медленно повернулась к Анне, и голос её прозвучал глухо, как камень, упавший в сухой колодец, — почему город не сдаётся? Флота больше нет — он сожжён у стен, и ветер разносит пепел кораблей. Стена пробита в двух местах: у монастыря Пантепопта и у Влахерн, где наши отбивались целую ночь, а на рассвете просто разошлись, как псы, уставшие лаять. А Мурзуфл бежал прошлой ночью — через Золотые ворота, в женском платье, говорят, чтобы не узнали.

— Не Мурзуфл бежал, — Анна медленно, с тягучей размеренностью перебирала кедровые чётки, и стук бусин отдавался в тишине, как редкие капли дождя по сухому дереву. — Бежал страх. И осел в каждом доме, в каждой щели, под каждой половицей. Я видела своими глазами, как вчера аристократы, чьи деды бились при Манцикерте, снимали со стен

фамильные иконы — золото, эмаль, драгоценные камни — и закапывали в садах, в цветниках, под корнями старых кипарисов, будто это не лики святых, а краденые монеты. Латинянам всё едино, чью кровь топтать — Христа или Юстианиана. Им святыни — не помеха. Им помеха лишь наши засовы, а засовы мы сами им открываем.

За стеной глухо ухнуло — тяжёлый камень, вырванный из кладки, рухнул вниз, и земля дрогнула под ногами. Потом пронзительный взвизг — детский, тонкий, режущий слух, как осколок стекла, входящий в живое тело. Ирина вздрогнула, пальцы судорожно вцепились в мраморный подоконник, но от окна не отступила — будто хотела запомнить этот звук навсегда.

«Ему было двадцать два, — промелькнуло в голове, и сердце сжалось, как от старой, незаживающей раны, которую тревожат мокрым пальцем. — Всего двадцать два. И он всерьёз полагал, что дружбу можно купить, как амфору вина из Хиоса или связку шёлка из Фив: назначь цену — и получишь верность, прозрачную и бесспорную, как ответ на воде».

Она говорила ему в последний раз в январе, когда ещё можно было что-то переломить, когда стены ещё не пали, а латиняне стояли лагерем за городскими рвами, но не решались на штурм. В пустом триклинии Дафны, где с мозаично-

го потолка взирали апостолы из золотой и синей смальты — попеременно с белыми, перламутровыми камнями, — Ирина стояла перед императором Алексеем IV Ангелом и почти кричала, срывая голос, теряя достоинство, которого её учили с детства.

— Кугіе, крестоносцы не уйдут. Вы пообещали им двести тысяч марок серебром. В казне нет и двадцати — мы опустошили церковную утварь, сняли оклады с икон, переплавили чаши. Вы отдали им Большой дворец на постой, и они спят в ваших опочивальнях, а ваши слуги моют их сапоги! Они вырубили распятие из алтарной преграды Святой Софии, чтоб сколотить осадную башню — Христа из алтаря, kugie, Христа!

Алексей сидел на низком табурете, поджав ноги по-варварски: трон не любил, жаловался, что холодный, мраморный, отдаёт сыростью склепа, — и жевал засахаренный инжир, обмакивая его в мёд. Глядел на неё с ленивой, чуть безгливой снисходительностью, какой взрослые смотрят на детей, требующих невозможного.

— Ирина, милая, ты ничего не смыслишь в политике. Бонифаций Монферратский — мой друг. Дандоло — почти дед, я целовал ему руку, когда он прибыл в гавань. Они подождут. Город устанет от моего отца — слепого Исаака, ко-

торый днями молится в часовне и не выходит к народу, — и полюбит меня. Меня, понимаешь? Я молодой, красивый, я говорю на их языке. А я люблю их. У нас общий враг — дьявол. И общая цель — Гроб Господень. Разве это не прекрасно?

— У венецианцев общая цель — ваши деньги, а не Гроб. У маркиза Монферратского — фракийские земли, которые он уже мысленно поделил между своими рыцарями. А вы им отдаёте ещё и Церковь — всё, что строили семь веков. Подчинение Риму, кугіе. Вы подписали это? Пальцем, кровью, печатью — подписали?

Он отправил в рот новый кусок инжира, медленно прожевал, облизнул липкие пальцы — по-мальчишески, по-нецарски, будто не император, а мальчик с рыбного рынка, стащивший сладость с лотка. Светлые, тонкие волосы падали на глаза, и он отбросил их небрежным движением.

— Тысячу лет Церковь спорила о филиокве, — сказал он, и голос его стал вдруг усталым, почти старческим. — Ещё тысячу поспорит, ей не привыкать. А нам сейчас нужны мечи, а не догмы, не эти ваши синоды и соборы. — Он наклонился к ней, так близко, что она ощутила сладкий запах инжира и мёда на его дыхании, почти коснулся губами её уха. — Ирина, ты хорошая девушка. Умная, честная, славная. Но

ты торгуешь шёлком, а не империями. Ты знаешь цену парче, но не знаешь цены предательства. Иди, переведи Дандоло письмо о поставках зерна для его флота. Это твоя война — счёты, амфоры, меры веса. Не моя.

Она тогда вышла, хлопнув медной дверью так, что сорвался бронзовый засов и упал на мозаичный пол с гулким, печальным звоном, словно колокол по покойнику. И долго рыдала в саду императрицы, где не цвели деревья — был холодный, сырой январь, и земля отдавала смертным холодом, и ветер шевелил голые ветви, как пальцы мертвецов.

Теперь, в апреле, плакать она не могла. Слёзы кончились где-то на третью неделю осады — иссякли, как высохший колодец. Осталась лишь горечь на языке — солёная, едкая, как та ржаная соль, которую жуют каторжники на галеры, чтобы не падать в обморок от голода и боли. Она стояла у окна и чувствовала эту соль на губах — и не могла её смахнуть.

Анна нарушила тишину — медленно, весомо, будто бросала в воду груз:

— Его убили не латиняне, знаешь? Свои. В тюрьме Анема. Удавили шнуром от облачения, которым он сам же и благословлял паству в Рождество. — Она часто, мелко перекрестилась узкой, бледной ладонью, и тени от светильника за-

плясали на её морщинах. — Был императором сорок дней после переворота. Сорок. Господь даёт сорок дней пустыне на покаяние. Ему не дал. Даже сорока не вышло — тридцать восемь, кажется, или тридцать девять. Кто считал?

— Я знаю, — тихо, почти беззвучно отозвалась Ирина, и её голос сорвался на последнем слоге, будто наткнулся на невидимую стену. — Отец видел тело.

Феодор Склирен, купец с шёлкового ряда, торговавший багрянницей для сенаторов, был приставлен к Анемской тюрьме смотрителем провизии — не по своей воле. Его принудили. Мурзуфл, тогда ещё не император, а просто удачливый заговорщик, сказал коротко: «Или ты, или жена твоя пойдёт в катакомбы с голодными крысами, которых там развелось больше, чем христиан». И Феодор пошёл — согнувшись, постарел за ночь, но пошёл. Вернулся белый как известка, осушил полкувшина неразбавленного фракийского вина, даже не закусив, и прошептал дочери, глядя в стену, будто там, за штукатуркой, было что-то страшное:

— Висел на крюке, как баран в мясной лавке. Голубые штаны, помнишь, с жемчугом, которые Дандоло подарил на Рождество, — всё в слизи и крови, жемчуг почернел. Глаза открыты. Но не глядели никуда. Будто уже ничего не видел... даже Бога. Будто Бог сам отвернулся от него в тот миг.

Ирина не спала три ночи после этих слов. Лежала на жёстком ложе, глядела в тёмный потолок и всё вспоминала — как впервые увидела Алексея. Лето 1203-го, когда после двухмесячной осады, выжженных предместий и голодного бунта крестоносцы наконец ворвались в Золотой Рог, и их корабли встали у самых стен, как стая хищных рыб. Алексей въехал в город через ворота Хрисополиса на белом коне, в парадной лорике с золотыми львами, и солнечный свет играл на его доспехах. Улыбался всем — нищему у обочины, сенатору в шёлковой хламиде, женщине с младенцем на руках — всем без разбора, будто каждому был должен по монете. Кричал, поворачиваясь в седле: «Ромеи, я ваш царь! Я привёл латинян не врагами, а братьями! Мы возьмём Иерусалим вместе, и я разделю с вами славу!»

Ему никто не поверил. Город молчал, как побитая собака. Улыбались из вежливости, кланялись — и прятали глаза. А она, Ирина, вдруг поверила. Потому что он напоминал ей святого Георгия с материнской вышитой иконы, что висела в детской: такой же молодой, безрассудно смелый, с ясным взглядом и золотым ореолом волос, ещё не тронутых седinou или страхом.

Потом мать скосила чума, занесённая венецианскими матросами с их грязных галер — умерла за три дня, распух-

шая и чёрная, не успев исповедаться. Потом отец стал смотрителем тюрьмы и перестал улыбаться. Потом сгорел квартал у Золотого Рога, и дым не выветривался неделями. Потом Алексей IV Ангел умер на крюке в Анеме.

А потом — сегодня, 12 апреля 1204 года, в день, когда город пал окончательно, — крестоносцы проломили внутреннюю стену, и крики «Santo Stefano!» и «San Marco!» смешались с колокольным звоном и плачем. Ирина стояла у окна, глядя на уходящие корабли, и чувствовала, как её собственная жизнь сворачивается в тугую, горячую точку, готовую исчезнуть в этом чаду, как исчезает утренний туман над морем.

За спиной Анна шептала псалом, и кедровые чётки стучали — мерно, бесконечно, как капли воды, падающие в пустоту.

Глава 1

****Июнь 1202 года. Венеция, дворец дожей. За год до осады.****

Венеция в июне пахла илом, смолой и перегретой медью — солнце стояло в зените над лагуной, и вода в каналах казалась жидким оловом, по которому скользили тяжёлые баржи, гружённые камнем, лесом, железными кольцами для будущих стенобитных машин. Дворец дожей, сложенный из розового и белого мрамора, высился над пиаццеттой, как корабль, застывший на якоре веков, но внутри, в зале Большого совета, царил полумрак — высокие стрельчатые окна выходили на канал, но плотные византийские занавеси, привезённые ещё при доже Себастьяно Зиани, гасили свет, превращая солнечный день в сумерки. Мраморный пол, натёртый до зеркального блеска, отражал редкие факелы, и от этого всё вокруг казалось двойным, призрачным — как сама венецианская власть, всегда готовая перетечь из одной формы в другую.

— Тысяча двести двадцать лет Римской империи — и всё впустую? Чтобы какой-то белобрысый мальчишка выпрашивал у латинян подаяние?

Энрико Дандоло не повышал голоса. Никогда. За шестьдесят лет его жизни, из которых почти тридцать он был слеп, он усвоил одну истину: крик выдаёт слабость, шёпот — власть. Он говорил почти бесшумно, с лёгким сиплым придыханием, будто каждое слово выходило из глубины высохшей груди, и от этого каждое его слово впивалось в мрамор, точно гвоздь, забиваемый медленным, уверенным молотом. Он сидел в резном кресле с высокой спинкой, обитой потёртым малиновым бархатом, и его сухие, жилистые пальцы лежали на подлокотниках, как когти старого ястреба, который уже не охотится, но помнит каждую схватку.

Собеседник — Бонифаций Монферратский, долговязый, с рыжей, тронутой первой сединой бородой и глубоким шрамом через бровь, рассекающим лоб до самой переносицы, — стоял у окна на канал, отодвинув край занавеси, и глядел вниз, где у причала грузили камни для стенобитных машин. Там, на мокрых плитах, оборванные мальчишки таскали гранитные глыбы, а надсмотрщики с хлыстами покрикивали на них по-венециански, перемежая брань с площадными шутками. Бонифаций, граф и маркиз, привыкший к виду крови и осадных орудий, тем не менее поморщился — не от жестокости, а от шума и суеты, которые так не вязались с величием замысла, что зрел в его голове.

— Тысяча двести двадцать лет, Энрико, — согласился он,

повернувшись к дожу, и голос его прозвучал чуть гулко в просторной, полупустой зале, где по стенам висели портреты прежних дожей, и каждый из них смотрел на сегодняшних с холодной, всезнающей укоризной. — Но он — внук Мануила Комнина. Царская кровь. Не какая-нибудь выскочка из армянских наместников или болгарский князёк. Комнины, Энрико, держали империю, когда наши корабли ещё не доходили до Леванта. Вернём ему престол — и получим всё: серебро, корабли, солдат для Египта. А папа Иннокентий, которого ты так ловко обвёл вокруг пальца с Задаром, простит нам этот маленький грех. У него нет выбора — он нуждается в нашем флоте больше, чем мы в его благословении.

Дандоло медленно, с едва уловимой, почти змеиной грацией повернул голову в сторону собеседника. Его веки, тонкие, с редкими седыми ресницами, были опущены, прикрывая мёртвые глаза — те самые, что выжгло копьём на переговорах в Константинополе в семьдесят первом году, когда ему было уже под шестьдесят, и он считал, что худшее позади. Но слепота не помешала ему видеть — не глазами, а той обострённой памятью, которая запоминает не цвета, а тоны голосов, шорохи одежд, колебания воздуха. Он слышал, как Бонифаций переминается с ноги на ногу, как его сапоги скрипят на мозаике, как рыцарь то и дело касается пальцем шрама на брови — верный признак волнения. И Дандоло улыбнулся — тонко, едва заметно, одними уголками губ.

— Задар мы взяли не ради папы, Бонифаций, — сказал он, и в голосе его послышалась лёгкая, почти ласковая насмешка, какую старые охотники позволяют себе над молодыми псами, ещё не знающими вкуса крови. — Мы взяли его, потому что мне нужен был порт. Порт, а не покаяние. Твои рыцари резали христиан на рассвете, когда город ещё спал — я слышал их вопли через воду, даже здесь, в Венеции. Они кричали на всех языках, какие только есть у Бога: по-венгерски, по-хорватски, по-латыни. И теперь ты хочешь тащить весь наш флот к Константинополю ради юнца, у которого за душой ни гроша, ни флорина, ни даже праха отцовского наследства?

Бонифаций усмехнулся, обнажив жёлтые, крепкие зубы, и шагнул к столу, бросив на полированную дубовую поверхность свиток, перевязанный шнуром с серебряными кистями.

— У него есть обещание, — сказал он, ткнув пальцем в пергамент. — Двести тысяч марок серебром, десять тысяч бойцов, признание римской церкви — он подпишет всё, что мы попросим, даже филиокве, даже личную унию, даже соборную грамоту о том, что папа — наместник Христа на земле. И поход в Святую землю, Энрико. Иерусалим, Гроб Господень, весь Левант — он обязуется снарядить армию и

флот, лишь бы мы надели ему венец на эту белобрысую голову. Всё — за венец. Тысяча лет империи — за железный обруч.

Дандоло не взял свиток. Он не читал тридцать лет — глаза выжгло калёным железом, и с тех пор ни один писец, ни один монах не могли вернуть ему ни буквы, ни строчки. Но он помнил всё, что ему читали вслух, и держал в памяти счета, даты, имена и цифры острее любого клирика. Он знал, что в свитке наверняка написаны цветистые обещания, но цена им — медяк на базаре.

— Мальчонке двадцать, — сказал дож, и голос его стал жёстче, как корка старого хлеба. — Бежал из тюрьмы, где его держал дядя Алексей Третий, на пиратской посудине — говорят, вёсла крал у рыбаков. Жил у сестры в Германии, в захолустном замке, где его кормили объедками. Шлялся по Вероне, Милану, Венеции — с протянутой рукой, как нищий. Сейчас ночует в гостинице «Святой Марк», в каморке под самой крышей, и ждёт ответа, как пёс ждёт кость. Скажи, Бонифаций, ты вправду веришь, что этот изнеженный царевич, ни дня не правивший, ни разу не державший меча в настоящей битве, раздобудет двести тысяч в разорённой, обобранной его же родней стране? Там казна пуста — Мурзуфл ещё не явился, но уже есть кому грабить.

— Он обещал, — повторил Бонифаций, и в его голосе послышалась лёгкая тень сомнения, которую он попытался скрыть за напускной бодростью. — Мальчишка горд, Энрико. Он не лжёт — он верит в свои слова, как дети верят в сказки. Иногда это опаснее лжи.

— А я обещал жене жемчуг из Александрии — и не привёз, — отрезал Дандоло. — Обещания — ветер, Бонифаций. Они шумят, но не греют. Я видел тысячи обещаний: крестоносцы клялись не грабить христиан и грабили, купцы клялись не мухлевать с мерами и мухлевали, папы клялись в святости и посылали наёмников резать своих же. Обещания — это пыль, которую сдувает первый же шторм.

Бонифаций усмехнулся снова — но на этот раз усмешка была кривой, почти печальной. Он любил Дандоло, как любят старого волка, который уже не может бежать, но зубы его всё ещё способны перекусить стальной наконечник копья. Любил со страхом и восхищением, смешанным с лёгкой брезгливостью, которую вызывают у живых те, кто слишком близко видел смерть.

— Тогда зачем ты принял его послов, Энрико? — спросил он, наклоняясь ближе, так, что свет факела упал на его шрам, и он стал похож на вторую улыбку, перекошенную болью. — Зачем допустил, чтобы мальчишка дошёл до твоего

порога? Ты мог вышвырнуть его ещё в мае, когда он впервые появился у ворот. Но ты не вышвырнул. Ты ждал. Я знаю тебя — ты никогда не ждёшь просто так.

Дандоло поднялся. Короткий, сгорбленный, с выгнутой спиной, как у старого грифона, он вскочил с кресла с такой стремительностью, что деревянные ножки скрипнули по мрамору, будто живое существо. В его груди, казалось, ещё билась пружина, заведённая в молодости, когда он ходил в послы к императору Мануилу и стоял на коленях перед троном, вымаливая милость для венецианских купцов. Теперь он не вымаливал — он брал.

— Константинополь, Бонифаций — горло мира, — сказал он, и голос его, хоть и не повысился, вдруг наполнил всю залу, отражаясь от высоких сводов, от бронзовых паникадил, от холодных лиц портретов. — Кто держит Босфор, тот держит шёлк, хлеб, рабов и святыни. Кто держит пролив, тот решает, кому плыть на Восток, а кому гнить на Западе. Я ждал повода сорок лет. Сорок, Бонифаций. Ещё с семьдесят первого, когда Мануил, этот хитрый лис, велел перебить всех венецианцев в столице — женщин, детей, стариков, не щадил никого. Я был там. Я видел, как нашего купца Антонио, моего друга, резали прямо на причале, а тело сбросили в воду, и рыба обглодала его лицо до неузнаваемости. Мне глаз выколол не араб, не норманн, не турок — ромей, про-

стой слуга императора, пока я на коленях просил пощады для остальных. Я помнил это сорок лет. И теперь их царевич сам ползает на коленях у моего порога. Судьба, Бонифаций. Не Бог, не дьявол — судьба, которую я ковал своими руками.

Он шагнул к двери, остановился на мгновение, обернулся — и даже слепые его глаза, казалось, смотрели прямо на собеседника с холодной, торжествующей ясностью.

— Позови его, — сказал он. — Но пусть войдёт один. Один, без свиты, без писцов, без этих его монахов в поношенных рясах. И пусть снимет сандалии. Я хочу слышать его шаги — по мрамору босиком. Тогда я пойму, трясётся он или вправду несёт свою дурь, как знамя.

Через четверть часа Алексей Ангел стоял на ледяном мозаичном полу залы Большого совета. Сандалии он снял — скомканные, потёртые, с лопнувшим ремешком, — и пальцы его, тонкие, аристократические, покраснели от стужи, потому что мрамор хранил весенний холод, хотя за окнами стоял июнь. Он был красив — по-гречески красив, той высокой, вылепленной, почти античной красотой, которую скульпторы любят изображать на фресках и монетах: тонкий, прямой нос, изогнутые губы, чистый овал лица, золотистые кудри, тщательно уложенные по моде константинопольских щёголей. Но в глазах, в этих больших, тёмных, с длинными рес-

ницами глазах, плескался страх — тот особенный страх, который испытывают юнцы, впервые переступающие порог чужой власти, когда ещё не знаешь, убьют тебя или облакают. И ещё кое-что, что уловил Дандоло по шороху его одежды: шёлк туники был дорогой, византийской работы, с золотым шитьём, но на локтях и на плечах он был потёрт до нитей, кое-где заштопан неловкой рукой. Мальчишка был беден. По-настоящему, безысходно беден, не по-царски, а так, как бедны разорившиеся аристократы, которые ещё носят бархат, но уже не могут заплатить за ночлег.

— Подойди, — сказал Дандоло по-гречески, с тягучим, чуть картавым венецианским выговором, который выдавал его происхождение даже через века службы. — Не бойся, я не кусаюсь. Не кусался даже когда глаз жгли калёным железом, а я кричать не мог — сжал зубы и терпел. Я стискиваю зубы и жду. Всю жизнь жду. Подойди, мальчик, не бойся — я слышу, как у тебя колотится сердце, и знаю, что ты дрожишь. Но дрожь — это не стыдно. Стыдно — трусить, когда нужно говорить. Ты пришёл говорить?

Алексей шагнул три раза — нетвёрдо, как слепой, хотя он видел всё: мраморные плиты, узоры, витые колонны, массивный стол, за которым сидел старик в тёмной мантии, похожий на хищную птицу, и фигуру Бонифация, застывшую у окна, словно рыцарь с картины. Он остановился в трёх шагах

от дожа, перевёл дух — глубокий, судорожный вздох, который Дандоло услышал и оценил: мальчишка собирался с силами, а не просто выдыхал от страха.

— Светлейший дож, — начал Алексей, и голос его, молодой, чистый, пытался быть твёрдым, но на первых нотах сорвался на фальцет, и он откашлялся, чтобы скрыть дрожь. — Я пришёл не кланяться. Кланчат нищие, а я — наследник империи, чья земля простирается от Дуная до Сирии. Я пришёл предлагать — не просить. Моя держава — не пряная лавка, где можно торговаться за каждую монету. Она — щит Европы, Бонифаций уже говорил вам это. Если Константинополь падёт под тяжестью моего дяди Алексея Третьего — труса, казнокрада, продающего церковные должности и снимающего золото с икон ради своих любовниц, — следующий удар придётся по Венеции. Я не преувеличиваю. Сельджуки уже в Никее, в каких-то ста милях от столицы. Печенег перешли Дунай и жгут болгарские села. Болгары сами подняли мятеж. Вы — остров, но остров, окружённый врагами, и море не вечно защищает вас. Я даю вам союзника на Босфоре. Настоящего, кровного, связанного клятвой и общим интересом. Не торговца, который продаст вас при первом же убытке, а императора, который будет помнить, кому обязан короной.

Дандоло слушал, чуть склонив голову к плечу, как ста-

рый пёс, взявший след, но не бросающийся в атаку: он наслаждался голосом, модуляциями, паузами — каждой интонацией, где сквозила и вера, и отчаяние, и юношеский пыл, смешанный с холодным расчётом, который, видимо, вложили в него наставники. Дож не перебивал, не кивал, не шевелился — только пальцы его на подлокотнике чуть дрогнули, когда Алексей упомянул сельджуков.

— Красиво, — сказал он, когда поток слов иссяк, и голос его, тихий и ровный, повис в воздухе, как нож, занесённый над столом. — Кто сочинил? Монах? Наёмный краснобай из тех, что бродят по дворам и продают риторику за обед? Или ты сам, в долгие ночи в гостинице «Святой Марк», перебирал эти фразы, как чётки?

Алексей покраснел до корней волос — шея, скулы, даже мочки ушей залились ярким, почти багровым румянцем, и он на мгновение опустил глаза, но тут же поднял их, встретив невидящий взгляд дожа с вызовом, на который только и способна молодость, когда её задевают за живое.

— Я сам, — сказал он, и голос его окреп, стал звонче. — Учился у Никиты Хониата, великого логофета, хранителя печати при дворе моего отца. Он говорил мне: «Не льсти, не унижайся, бей в суть. Ищи общий интерес, а не милость». И я ищу общий интерес. Вам нужен Константинополь как

союзник, а не как враг. Мне нужен венец. Обмен — честный и ясный, как весы на вашей площади.

— Хониат умён, — кивнул Дандоло, и в его голосе послышалась уважительная нота, которую он редко давал даже сенаторам. — Но он сейчас сидит в Константинополе, в своей комнате при храме Святой Софии, и строчит хронику о гибели династии Ангелов. Он не знает, что ты здесь, мальчик. Никто не знает — ни твой дядя-узурпатор, ни патриарх, ни твоя сестра, которая вышла замуж за германского короля. Ты пришёл ко мне тайком, как вор, — через чёрный ход, с поддельными бумагами. Почему? Если ты так веришь в свою правоту, почему не объявил о себе во всеуслышание?

Алексей замялся — на мгновение, но Дандоло уловил это молчание и мысленно поставил галочку: мальчишка способен размышлять, а не только говорить заученные речи.

— Потому что вы — старейший, — наконец выговорил он, подбирая слова с осторожностью человека, который боится оступиться. — Опытнейший. Самый... — он запнулся, и Дандоло услышал, как он сглатывает слюну, — самый расчётливый. Не продажный, нет. Я сказал бы — дальновидный. Жестокий, но справедливый, на свой лад. Слепой, но зрячий, потому что видите не глазами, а умом. Вы — единственный, кто способен рискнуть, не потеряв головы. Говорите прямо

— я не обижусь.

Дандоло позволил себе короткий, сухой смешок — не столько смех, сколько выдох с хрипом.

— Говорить прямо? Хорошо. Во дворце ложь пахнет так же, как тухлая рыба с Риальто, которую выбрасывают на расвете. Я чую её за версту. Так говори прямо, мальчик: что ты можешь дать мне такого, чего я не могу взять сам, когда захочу?

Алексей выпрямился, и хотя босые ноги его дрожали от холода, он сделал шаг вперёд, почти к самому столу, так что Дандоло ощутил запах его одежды — ладан, мята и дешёвое мыло.

— Самый расчётливый, — повторил Алексей, и голос его зазвенел почти дерзко, почти по-мальчишески. — В Бога вы не верите, это я знаю. В Святую землю — тоже. Вы верите в числа, в счета, в вексели. Двести тысяч марок — это флот из пятидесяти галер на два года, с командой, провиантом и запасными вёслами. Я знаю ваши счета, кугие. Ваши купцы ведут двойные книги, и я видел их тайные реестры через одного моего знакомого на Риальто. — Он вдруг засмеялся — нервно, срывающимся смехом, в котором слышалась и истерика, и облегчение, будто он выдохнул самый страшный сек-

рет. — Дядя украл казну — это факт. Но землю не украсть. Земля — это подати. Подати — это деньги. Я даю вам залог сразу, до любой коронации: Диррахий, порт на Адриатике, — весь, с крепостью и таможней. И Крит. Остров, который вы давно хотели, но не могли взять. Отдам немедленно, подпишу бумаги здесь, при вас. Это не обещание — это плата. И вы не получите её ни от кого другого, потому что мой дядя никогда не расстанется с Диррахием, а Крит он уже заложил генуэзцам, но не отдал.

Дандоло молчал. Молчал так долго, что за окном успела прокричать чайка, и Бонифаций переступил с ноги на ногу, и тени от факелов дрогнули. Алексей начал переступать с ноги на ногу — мозаика под босыми ступнями студила до костей, и он то и дело сгибал пальцы, пытаясь согреть их о холодный камень, но тщетно.

— Садись, — наконец сказал дож, и голос его стал вдруг усталым, почти отеческим, но в этой усталости таился стальной приказ. — Вон на тот резной стул, у колонны. Сядь и не вставай, пока не разрешу. Ноги у тебя посинели, а разговор у нас будет долгий. Я позову писца — своего тайного писца, Франческо, который не пишет того, что слышит, а только то, что я велю. И мы продиктуем договор. Но запомни, Алексей Комнин-Ангел: сердца у меня нет. Я давно его продал, и не за деньги, а за право дожить до этого дня. Один расчёт. Об-

манешь меня хоть на медяк, хоть на одну литру серебра — я сам приведу флот к твоим стенам, прорву цепи Золотого Рога и отплачу тебе за всё, что твои предки сделали с моим глазом. — Он ухмыльнулся, показав жёлтые, стёртые зубы, и в этой ухмылке было больше угрозы, чем в любом крике. — Без железа, без стали. Просто сниму с тебя кожу собственными руками, натяну на пергамент и подпишу новый договор — уже с твоим преемником. Если он будет жив. Согласен?

Алексей плюхнулся на стул так поспешно, что тот закрипел и качнулся, и он едва удержал равновесие, схватившись за резные подлокотники. Его пальцы дрожали, но лицо уже не было бледным — в нём проступила та странная, почти безумная решимость, с которой молодые люди бросаются в пропасть, потому что не видят иного пути.

— Согласен, — сказал он, и голос его прозвучал твёрже, чем он сам ожидал.

Он не знал тогда — никто не знал, — что через полтора года этот слепой старик, этот дож, которому уже перевалило за девяносто, будет стоять на палубе флагманской галеры «Святая Мария» у цепей Золотого Рога, и его высохший голос прокричит «на abordаж» так, что матросы в ужасе перекрестятся. Что город, который Алексей продаёт сегодня за обещание короны, сгорит дотла, и пламя будет видно с ази-

атского берега. Что его самого, Алексея, удавят в темнице шнуром от облачения, и глаза его останутся открытыми, глядя на плесень и грязь, а не на трон. Что договор, который они сейчас скрепят пылью и чернилами, станет для сотен тысяч людей — для греков, латинян, армян, евреев, для женщин и детей — не документом, а смертным приговором, подписанным с обеих сторон.

Но сейчас, в этот июньский вечер, он сидел на резном стуле, выпрямив спину, и улыбался той улыбкой, которую Ирина Склирена, дочь купца с шёлкового ряда, через год и десять месяцев назовёт в своём дневнике «улыбкой Икара» — светлой, дерзкой и обречённой, потому что воск крыльев уже начал таять, хотя солнце ещё не поднялось в зенит. А старый дож, слепой, но зрячий, уже слышал, как скрипят перья писца, и считал в уме прибыль от Диррахия, Крита, Босфора и, самое главное, — от унижения империи, которая некогда ослепила его, а теперь сама лежала у его ног в образе белокурого, дрожащего мальчика, готового продать всё за одно только право называться императором.

Глава 2

****Июль 1203 года. Константинополь, Золотой Рог — Галатская башня.****

Ирина Склирена и не думала, что когда-нибудь возненавидит утро. Она любила утра — за их тишину, за розовый свет, пробивающийся сквозь туман над Мраморным морем, за запах свежего хлеба из пекарен на Месе, за крики чаек и редкий звон колоколов Святой Ирины, доносившийся из-за квартала. Утро было временем надежд, когда можно было пересчитать прибыль, помечтать о замужестве, почитать письма от кузенов из Фив. Но в это утро, пятого июля 1203-го, солнце выползло из-за халкидонских холмов, как больной глаз, воспалённый и багровый, и окрасило воду Босфора в цвет запёкшейся крови — той самой, что, как она чувствовала, уже пролилась на другом берегу. Ирина поняла: у страха есть оттенок. Не чёрный, не красный. Медный. Таким же медным блеском отливали тысячи латинских щитов на том берегу Золотого Рога — они мерцали в утреннем свете, как чешуя огромной рыбы, выползшей из моря, чтобы проглотить город.

Отец стоял рядом на плоской кровле их дома в Серебряных рядах — дом был старый, ещё дедовский, с толстыми стенами и узкими окнами, выходившими на юг, к гавани. Фёдор Склирен, пятидесяти трёх лет, с глубокой проседью в

бороде, которую он не красил уже года три, и вечно мокрым от пота лбом (печень сдавала — лекари ставили пиявки каждую луну, но толку было мало), держал подзорную трубу — венецианскую, из горного хрусталя, купленную три года назад за сто двадцать золотых монет у одного беглого мастера с Риальто. Труба ходила ходуном в его руке — пальцы дрожали от напряжения, от страха, от того же проклятого недуга, что сушил его изнутри.

— Их больше, чем вчера, — сказал он глухо, и голос его сел, будто он не пил воды всю ночь. — С моря ещё шесть парусников подошло. И эти... башни на плотях. Настоящая осада, как при Маврикии, когда авары стояли у стен. — Он перекрестился по старинному обычаю, двумя пальцами, прижимая их ко лбу, животу и плечам. — Господи, прости, что променяли Тебя на шёлк да икру, на суету и серебро. Прости нас, окаянных.

Ирина молчала, считая. Она считала не вслух — в уме, как учил её когда-то наставник-логограф, твердивший, что числа — единственная правда в этом мире. Насчитала сорок семь больших судов в гавани Просфорион, где ещё месяц назад мирно рыбачили халкидонские лодки, и сети сушили на солнце. Ещё двадцать — у Влахернских стен, где вода была темнее и глубже. А над всеми этими кораблями — стяги: крылатый лев Венеции, серебряный крест на красном поле Бонифация Монферратского, золотые полосы Фландрии, орлы и львы, львы и орлы — целый зверинец, спустившийся

на воду.

— Отец, где наш флот? — спросила она тихо, не оборачиваясь, потому что боялась увидеть в его глазах тот же ответ, который уже знала. — У нас же были корабли. При Мануиле двести дромонов ходило, и гребцы с каждого острова — ромеи, армяне, даже англы. Мы же владыки моря.

Феодор опустил трубу и посмотрел на дочь так, как смотрят на ребёнка, который спрашивает, почему умерла мать. Безнадёжно, устало, с той сухой, невыплаканной болью, которая годами сидит в груди и не выходит.

— Твой император, Ирина, продал флот. Алексей Третий, которого мы кличем Ангелом, а должны бы Иудой — он продал наши корабли генуэзцам за прошлогодний урожай пшеницы и за партию вина, которое, говорят, прокисло ещё до того, как дошло до складов. Деньги прокутил на охоте в Месемврии — там, говорят, за месяц зарезал больше кабанов, чем врагов за всё своё правление. Слышала, как он вчера на ипподроме кричал перед толпой: «Господь защитит стены, что Константин поставил!» — Феодор сплюнул через парпет, и слюна упала на мостовую, в пыль. — Господь-то, может, и защитит, только у Него камнемётов нет. И флота тоже нет.

Ирина снова глянула на тот берег. Там, между парусами, на плотях и на берегу, шевелились мелкие фигурки, перетаскивали что-то тяжёлое, квадратное, обтянутое бычьими шкурами — свежими, ещё тёмными, с капельками влаги. Ка-

тапульты. Она видела их на картинках в старом манускрипте о походах Ираклия, но там камни были маленькие, нарисованные монахом, который войны не нюхал, и всё казалось игрушечным. Здесь же камни громоздились горами, величиной с колесо телеги.

— Они будут брать Галатскую башню, — сказала она вдруг, и голос её прозвучал ровно, будто она читала вслух уже давно известное. — Возьмут башню — снимут цепь, что перекрывает залив. Тогда их галеры войдут в гавань, и ничто их не остановит.

Феодор уставился на неё с таким изумлением, будто она предвещала землетрясение.

— Откуда ты... кто сказал? Ты видела их планы? Ты говорила с кем-то из латинян?

— Никто. Сама додумалась. — Ирина пожала плечами, и этот жест был почти мальчишеским, отчаянным. — Я же латинские письма купцам перевожу. У венецианцев всё по расчёту: цепь держится на башне, башня — ключ. Вот и всё. Это не тайна, отец. Это просто логика.

Отец хотел ответить, но внизу, на улице, закричали. Ирина перегнулась через перила, рискуя упасть — каменный парапет был низким, и она вцепилась в него пальцами.

Мимо бежал монах в рваной, засаленной рясе, с растрёпанными седыми волосами, босой, с деревянным крестом на груди. Он голосил на весь квартал, перекрывая гул толпы:

— Покайтесь, люди! Покайтесь, ибо наступает день Гос-

подень! Видел сон: латиняне плавают в нашей крови, как в вине, и хлебают её чашами! Ангел Господень рек мне: «За гордыню вашу, за поругание святынь, за торг церковными местами отдам вас франкам, как псов — на съедение!»

Из дверей харчевни, что стояла напротив, выскочила толстая трактирщица Зоя, с засученными рукавами и мокрым передником. Она швырнула в монаха глиняной миской, которую только что вытирала. Та разбилась о стену, забрызгав грязью икону Богородицы в нише — древнюю, почерневшую, с потускневшими глазами.

— Пшёл прочь, юродивый! — заорала Зоя так, что вороны с крыш взлетели. — Не войдут они! У нас стены Феодосия! Тысячу лет никто не брал! Ни арабы, ни болгары, ни эти твои франки с их кораблями!

— Авары брали! — крикнул кто-то из толпы, молодой подмастерье с перепачканным мукой лицом. — И персы при Хосрове, и арабы у ворот стояли при Константине Погонате!

— И никто не остался! — подхватила Зоя, уперев руки в бока. — Потому что мы ромеи, наследники Рима, и Господь с нами, а не с этими латинянами, которые своих же единоверцев режут, как скот!

Толпа одобрительно загудела, даже засмеялась, но смех был нервный, срывающийся, на грани слёз, и в нём слышалась та же дрожь, что была пальцы Феодора.

Ирина заметила, что отец крестится не переставая, и сама машинально шепнула: «Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-

жий, помилуй нас, грешных». Но в словах её не было веры — только привычка.

Никто не знал, что к вечеру слова «латиняне не войдут» станут самой горькой шуткой в истории города, и их будут вспоминать с таким же отчаянием, с каким вспоминают имена умерших детей.

В тот же час, на другой стороне пролива, на палубе венецианской галеры «Святая Мария» — название вышло насмешливым, потому что корабль нёс смерть, а не милость, и Мария, мать Божья, наверное, отворачивалась от него, — Энрико Дандоло примерял доспехи.

Сам он не мог — руки уже не слушались, пальцы скрючились от подагры, и ему помогали трое оруженосцев: двое венецианцев, коренастые, молчаливые, с лицами, обветренными солёным ветром, и один грек-перебежчик, бывший слуга Стрифна, знавший все слабые места Галатской башни. Они затягивали ремни на его сухих, тонких ногах, натягивали кольчугу — франкскую, миланской работы, с двойными кольцами на груди, чтобы стрела не прошла, — поверх кожаный поддоспешник, проклёпанный медными заклёпками, а на него — панцирь из полированных стальных пластин, выписанный из Ломбардии за тысячу лир, который весил столько, что молодой рыцарь согнулся бы под ним, но Дандоло стоял прямо, будто вырезанный из дерева. Он стоял неподвижно, глаза закрыты — бельма, пустота, но он видел всё иначе: он вдыхал запахи. Дёготь, который горел на стрелах,

— резкий, сизый. Мох в щелях палубы, сырой и затхлый. Прогорклое масло для катапульт, смешанное с серой. И ещё один, памятный сорок лет — летний дух Константинополя, который он узнал бы даже после смерти: кипарисы, ладан из бесчисленных церквей и та сладковатая, приторная вонь нечистот, которую горожане сливали прямо в море, потому что канализация, построенная при Юстиниане, уже семь веков не работала как должно.

— Превелегий, — позвал он тихо, и голос его прозвучал сухо, как треск старой бумаги. Подскочил молодой писарь — худой, с чернильным пятном на щеке и вечно испуганными глазами. — Читай последнее донесение разведчиков, что ночью переплыли из города.

Писарь развернул свиток, зашелестел пергаментом, и голос его дрогнул:

— «Галатскую башню обороняют пятьсот варангов — наёмники с севера, с боевыми топорами, рослые, злые, многие в медвежьих шкурах. Начальник — Михаил Стрифн, бывший адмирал флота, ныне — пьяница, спит до полудня и пьёт до утра. Цепь в заливе — семьдесят два звена, каждое толщиной в руку взрослого мужчины, крепится на понтонах, и понтоны эти связаны железными скобами. В проливе пятнадцать ромейских галер, но почти без гребцов — людей увели на стены, остались лишь старики да пленные».

Дандоло кивнул, и этот кивок был едва заметен, но писарь вздрогнул, будто увидел, как шевельнулась статуя.

— Стрифн пьян, это хорошо. Пьяный командир — это половина победы. Варанги — народ надёжный, пока им платят. Но платить мы не станем — мы их вырежем, как баранов на убой. — Он приподнял веки, под ними бельма, пустота, но Бонифаций Монферратский, стоявший рядом на палубе, вздрогнул — ему казалось, что слепой дож видит больше, чем любой зрячий. — Бонифаций, ты здесь?

— Здесь, Энрико. — Маркиз переступил с ноги на ногу, и его рыжая борода шевельнулась от ветра. — Ты вправду пойдёшь первым, когда начнётся штурм? Тебе девяносто лет, ты дож Венеции, а не какой-нибудь наёмник. Я сам поведу атаку, с моими рыцарями, у меня больше опыта в таких делах.

Дандоло усмехнулся — беззвучно, одними уголками губ, но в этой усмешке было столько стали, что Бонифаций замолчал.

— Маркиз, ты любишь славу, а я — победу. Слава — это дым, который развеивается к вечеру. Победа — это серебро и земли. Если я останусь на корме, матросы увидят, что слепой старик не идёт в бой, и решат, что штурм безнадежен, и тогда твоя слава, Бонифаций, ляжет на дно вместе с твоим кораблём и твоими рыцарями. А я хочу, чтобы они шли, и шли до конца. — Он протянул руку. — Шлем.

Оруженосец подал простой шлем, без украшений, с узким наносником и кожаным подбородником, потёртый, со следами от старых ударов. Дандоло надел его сам, натянул на седые волосы, затянул ремни под подбородком. Потом взял

короткий палаш — рубящий, не колющий, тяжёлый, с широким лезвием. Взвесил в руке, привычно, будто делал это каждый день.

— Мальчишка Алексей с берега смотрит? — спросил он вдруг, не поворачиваясь.

— Смотрит, — ответил Бонифаций. — Привёл свою тысячу греческих добровольцев — или тех, кого смог собрать из беженцев. Будут высаживаться после нас, как договаривались.

— Греки высадутся, когда мои венецианцы уже будут сидеть на стенах башни и пить вино из вражеских погребов. Греки умеют только догонять и собирать трофеи, но не наступать первыми. — Дандоло повернулся к корме, где на высокой мачте полоскался стяг с крылатым львом, и крикнул хрипло: — Эй, священник! Где поп?

Маленький священник в грязной, засаленной рясе, с жидкой бородкой и красным носом, протиснулся сквозь толпу арбалетчиков, которые заряжали свои орудия.

— Здесь, ваша светлость. Я отец Антонио, из церкви Сан-Джорджо.

— Отпусти мне грехи, отец Антонио. Живо, у меня нет времени на долгие молитвы. Ладана не надо — задохнусь в этом дыму.

Священник забормотал латинские псалмы, замахал кадиллом, выпустив облачко дыма, но Дандоло не вдыхал — задержал дыхание. Он стоял с закрытыми глазами, меч на пле-

че, как пахарь перед закатом, и слушал слова отпущения, которые не значили для него ничего, кроме обряда. Когда поп кончил и перекрестил его дрожащей рукой, дож перекрестился левой рукой — правая держала меч, — и крикнул неожиданно звонко, так что его слышали даже на дальних галерах:

— Гребцы — на вёсла! Кормчий — к Галатской башне, прямо на цепь, не сворачивать! Камнемёты — по западной стене, бить по бойницам! Арбалетчики — на нос, готовить залп!

Галера вздрогнула, будто живая, и под ней закипела вода. Сто двадцать гребцов ударили вёслами по маслянистой, буро-зелёной воде, и корабль рванулся вперёд, рассекая волну. За ним — ещё пятьдесят галер, вторая линия, третья, четвёртая, и весь пролив заполнился скрипом вёсел, криками команд, рёвом труб и барабанов — в домах на ромейской стороне вылетали стёкла, и люди падали на колени, затыкая уши. Галатскую башню заложил ещё император Анастасий в 512 году, чтобы укрыть бухту от готов, которые тогда грабили побережье. Перестраивали при Юстиниане, при Ираклии, при Василии Болгаробойце, и каждый раз добавляли новые ярусы, новые зубцы, новые бойницы. Теперь это был массивный двенадцатигранный столп из тёсаного камня, в тридцать локтей вышиной, с серыми, выщербленными временем стенами. Наверху — широкая площадка для метательных машин, откуда защитники могли поливать врага горячей смо-

лой. Внутри — три яруса складов и казарм, где хранились запасы оружия и провианта на полгода осады. От башни к городским стенам тянулась та самая цепь — тяжёлая, проржавевшая, с наростами ракушек, но страшная: говорят, в её звенья вплавлены гвозди от Животворящего Креста, что привезла святая Елена из Иерусалима. Верили или нет, но цепь никто не рвал — никогда. Она была символом, как и сама империя: старая, проржавевшая, но неприступная. До этого дня.

На носу «Святой Марии» Дандоло стоял с поднятым мечом, и ветер срывал с его шлема седые пряди. Арбалетные болты уже свистели вокруг — защитники башни заметили наступление и начали стрельбу. Один болт ударил в борт, раскроил доску надвое, и щепки полетели в воду. Второй снёс голову гребцу на левой стороне — тот рухнул без звука, весло дёрнулось и ударило соседа по спине, и тот заорал от боли.

— Ходу не сбавлять! — заорал Дандоло, и голос его перекрыл даже рёв труб. — Кормчий, тарань цепь! Тарань, говорю!

Кормчий, старый венецианец с перебитым носом и шрамом на щеке, оглянулся на дожа с таким лицом, будто видел перед собой безумца, выскочившего из сумасшедшего дома.

— Превелегий, цепь держит двадцать лет! Её и шторм не брал. Нос разобьём, потеряем галеру!

— Разобьёшь — я тебя лишу носа и всего, что ниже пояса,

включая твою должность! Вперёд!

Галера разогналась на всех вёслах. Семьдесят локтей до цепи, пятьдесят, тридцать... Если бы Ирина стояла на своей кровле с отцовской трубой, она бы увидела, как медный таран «Святой Марии», окованный железом, врезался в ржавые звенья.

Звук — словно Господь ударил в самый большой колокол Святой Софии: низкий, долгий, дрожащий, и этот гул прокатился по всей бухте, отражаясь от стен и домов. Вода взлетела фонтаном брызг, смешанных с ржавчиной и тиной. Нос галеры задрался вверх, треснул, но не развалился — железные скобы выдержали.

А цепь — не выдержала.

Среднее звено, то самое, в которое когда-то вплавили крестный гвоздь, треснуло по старому шву — его не меняли семьсот лет, ржавчина и морская соль съели металл изнутри, и он стал тонким, как бумага. Дандоло не видел этого, но слышал: звон, затем скрежет, затем глухой всплеск — цепь упала в воду, развалившись на две половины, и понтоны качнулись, освобождённые от тяжести.

— Сделали! — закричали матросы, и крик этот прокатился по всем галерам. — Сделали! Цепь пала!

— Молчать! — рявкнул дож, и его голос, хоть и тихий, заставил замолчать даже самых буйных. — Цепь — только дверь. Теперь надо войти в дом. На абордаж! К башне! Кто возьмёт её первым — получит тысячу золотых и моё личное

вино на десять лет, какое только найдёте в погребах!

Венецианцы с рёвом кинулись к сходням, перебрасывая мостки с галер на нижний ярус башни. Арбалетчики с кормы прикрывали их частыми залпами, и болты впивались в каменную кладку, высекая искры. Варанги сверху отвечали — тяжёлые секиры и камни летели вниз, но чаще мимо, потому что защитники были ошеломлены внезапностью и грохотом. Один датчанин, рыжий великан с рунами на скулах, вытатуированными синей краской, высунулся из бойницы на втором ярусе и крикнул по-гречески с ужасным, гортанным выговором:

— Идите сюда, латинские псы! Я из вашей печени паштет сделаю и съем на завтрак!

В тот же миг арбалетный болт, пущенный с «Святой Марии», ударил его в щёку, пробил кость и вышел через затылок. Датчанин взвыл, выдернул болт вместе с мясом и швырнул обратно вниз, но тут же рухнул, зажимая рану ладонью, и больше не встал.

Дандоло ничего этого не видел, но слышал каждый шаг, каждый звон мечей, каждый треск дерева, каждый крик на итальянском, греческом, датском, французском — весь этот адский хор. Он нюхал кровь, пот, дёготь, горячее масло, которое варанги начинали лить сверху, и чувствовал, как горечь победы смешивается с запахом смерти. Он улыбался — той же беззвучной, страшной улыбкой.

— Превелегий, — писарь дёрнул его за рукав, — наши

высадились на нижнюю площадку. Лестницы ставят к верхним ярусам. Варанги льют масло через бойницы — трое наших уже горят.

— Значит, будем гореть красиво, — ответил Дандоло и шагнул на трап, переброшенный с борта галеры на каменный уступ башни.

Он пошёл первым — слепой, девяностолетний, с палашом в правой руке и кинжалом в левой. Сапоги ступали по скользким мосткам, перепачканным маслом и кровью, но он не колебался. Внизу — вода, покрытая огненной плёнкой от горящих стрел, и трупы, плавающие в ней. Матросы, увидев, как старый дож идёт в атаку, забыв страх и рассудок, ринулись следом, и волна венецианцев захлестнула первый ярус.

Ирина услышала крики за два квартала до того, как увидела огонь. Она стояла у ворот их дома, пытаясь уговорить соседку-вдову не выносить сундук с приданым на улицу, потому что это только привлечёт мародёров. Но потом раздался тот самый колокольный звон — низкий, долгий, — и она поняла: цепь пала.

Отец послал её к тётке Феодосии, на улицу Месы — та была замужем за друнгарием, начальником дворцовой стражи, и могла знать новости из дворца раньше, чем они дойдут до простых смертных. Ирина не дошла. У колонны Аркадия, где обычно торговали сырными лепёшками и орехами, её остановила толпа — обезумевшая, кричащая, толкающаяся.

— Цепь упала! — орал разносчик, стоя на ступенях церкви, — тот самый, что каждое утро выкрикивал новости о ценах на зерно. — Латиняне высадились в Галате! Варанги бегут! Стрифн мёртв или пьян — не понять, но башня почти взята!

— Врёшь! — крикнула старуха в тёмном платке. — Врёшь, чтобы народ пугать!

— Сам видел! У меня брат служит на башне, он прибежал как ошпаренный! Говорит: наши бегут, а венецианцы входят, и с ними слепой дож в доспехах, ревёт как лев, и никто не может его остановить!

Ирина развернулась и побежала обратно — не к тётке, а к дому, к отцу. Она бежала не от страха — вдруг поняла: отец один, без неё, а если начнётся паника, его задавят в этой толпе, задавят, даже не узнав, кто он. Её ноги несли её сами, и она не чувствовала боли от жёстких сандалий, от камней, от острых щепок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.